



Г. А. МЕЙЕР

Жало в дух. Обморок веры живой

(Место Тютчева в метафизике российской литературы)

ГЛАВА I

Перед кончиной «лицо его внезапно приняло какое-то особое выражение торжественности и ужаса»¹.

Так говорит о Тютчеве его биограф, непосредственный свидетель его смерти.

Слово, жест, выражение лица умирающего много тайного могут поведать нам. Какую услугу оказал бы живым тот, кто пожелал бы собрать воедино различные свидетельства о предсмертных мгновениях людей², как великих, так и самых малых, обыкновенных. Смерть, хотя бы на миг, равняет всех в величии. В последние минуты своей жизни обыкновенный касается необычайного и самый малый становится безмерным.

Пушкин, умирая, просил присутствующих приподнять его на постели. — «Поднимите меня выше, выше!» — говорил он³.

«Лестницу, скорее лестницу!» — были последние слова Гоголя⁴.

Фет — существо неразгаданное — самый таинственный из всех наших поэтов, в предсмертном припадке грудной жабы, тщетно пытаясь вздохнуть, упал в кресло, глаза его в неведомом испуге вышли из орбит и, указав пальцем в угол комнаты: «Черт!» — сказал он и, задохнувшись, умер. Застывшие веки мертвого Фета опустить не удалось. Пришлось накрыть его лицо в гробу особым покрывалом, чтобы утаить ото всех нездешний ужас, отобразившийся в зрачках⁵.

О конечной, потусторонней судьбе Пушкина, Гоголя и Фета мы судить не в силах. Но их предсмертные порывы и слова все же дают нам возможность смутно предощутить уже бесплотное

движение трепетных теней, загробное дуновение, уносящее отошедших в неведомое.

Последние порывы и слова Пушкина, Гоголя и Фета явно и неразрывно связаны с основным творческим делом всего их земного существования. Причем эта связь двоякая — у Пушкина и Гоголя положительная, у Фета отрицательная.

Пламенное устремление к новому миру, к новому небу, было присуще Пушкину с отроческих лет. Он сам об этом свидетельствует в стихах, обращенных к Жуковскому, своему наставнику на путях духовных. Никогда не забывал Пушкин тот час, когда, будучи еще отроком, безмолвно он стоял перед старшим собратом по искусству, и его душа, «подобно молнийной струе», летела к «возвышенной душе» Жуковского и, «тайно соединясь, в восторге пламенела»⁶. Эта детская устремленность к началу духовному, впоследствии столь окрепшая, возмужавшая в поэзии Пушкина, снова сказала, и не могла не сказаться, в отходный час поэта. Умирая, каждый из нас словом, жестом или выражением лица возвращается к своему изначальному, исходному порыву. Так, выражаясь словами самого Пушкина, «мы близимся к началу своему»⁷, к новому, второму рождению. И как знаменательно, что как раз Жуковскому довелось присутствовать при кончине Пушкина и во исполнение последней просьбы поэта приподнять его под руки на смертной постели, уже не только для того, чтобы соединиться с ним собственной возвышенной душой, но и навстречу Всевышней Воле.

Гоголь всю жизнь тянулся к Пушкину, к его поэзии. Она была для него прообразом первозданного рая. По смерти пиита только Жуковский, только он, и совсем не случайно, поддерживал и питал Гоголя духовно⁸. Спустя девять месяцев после того, как Пушкин был убит, Гоголь благоговейно и горестно восклицает: «О Пушкин, Пушкин, какой прекрасный сон удалось видеть мне в жизни!» Это восклицание таинственно и навсегда связывает для нас три имени воедино: Пушкин, Жуковский, Гоголь.

В страшную минуту смерти к кому обратился Гоголь с последним самым насущным призывом? Невольно думается мне, что именно к Жуковскому, тогда еще живому, и к давно умершему Пушкину, творчество которого неизменно обещало спасение автору «Мертвых Душ».

«Лестницу, скорее лестницу!» — для перехода от земного существования ко второму рождению, от еще живого Жуковского, через неведомые мытарственные препятствия, к Пушкину в заочную обитель...

За день перед смертью Гоголь дрожащей, неверной рукою, заносит на бумагу: «Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник». Религиозный путь нации, духовный путь ее великих творческих представителей, есть нередко крестный путь. По невидимой лестнице, от Жуковского к Пушкину, мучительно восходил, «прелазал» Гоголь к Утешителю всех скорбящих, к Отверзающему двери на стук. Жуковский, к тому времени почти совсем слепой, узнав о смерти Гоголя, писал Плетневу: «Какою вестью Вы меня оглушили! и как она для меня была неожиданна!.. Я жалею о нем несказанно, собственно для себя»...⁹

Гоголь умер в Москве 21 февраля 1852 года. 12 апреля того же года, в Германии, в Баден-Бадене, скончался Жуковский. В своей прекрасной книге о Жуковском Борис Зайцев говорит¹⁰ проникновенно: «Он исповедался, причастился с детьми вместе и совсем успокоился — началось торжественное, во всем высшем духе жизни его умирание — переход — успение... Именно он отчаливал».

...духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строя:
Он стройно жил, он стройно пел.

К этим стихам Тютчева, написанным в 1852 году на смерть Жуковского, можно добавить теперь, что, прикоснувшись перед кончиной к истоку своей духовной стройности — к детям и детскому, «приблизясь к началу своему», он и отошел стройно.

Замечательнее всего, что в 1873 году Тютчев, незадолго до смерти, вспоминал Жуковского с ясностью необычайной. И непокорным, коснеющим языком (Тютчева постиг апоплексический удар) он продиктовал стихи на день рождения Императора Александра II, воспитанника Жуковского:

На ранней дней моих заре,
То было рано поутру, в Кремле,
То было в Чудовом монастыре,
В уютной келье, темной и смиренной,
Там жил тогда Жуковский незабвенный,
Я ждал его и в ожиданьи
Колоколов Кремля я слушал завыванье.

То было в «весенний первый день, лазурно-золотой», в час рождения наследника престола. Воспоминание о том дне, о том часе, слилось для Тютчева с воспоминаньем о Жуковском: «Вся жизнь моя прошла под этим кротким, благостным влияньем».

Однако творческие пути Тютчева, его жизненное, а следовательно и поэтическое предназначение, во многом были иными, далекими от такого влияния. И потому благодатные излучения, исходившие от Жуковского, не совсем предохранили Тютчева от чего-то очень страшного в последнее мгновение его жизни. На лице его, наравне с торжественностью, отобразился и ужас. По-видимому, это было всего лишь ядовитое веянье, лишь грозное приближение того черного ужаса, который через неполных двадцать лет охватил и сразил Фета — колдуна, волхва, волшебника и мага.

ГЛАВА II

Внутренняя, подспудная зависимость поэзии Фета от поэзии Тютчева, в ходе, развитии и, наконец, в постепенной ущербленности российской — религиозно понимаемой национальной идеи весьма велика. Чрезвычайное значение этой зависимости становится особенно ясным, если принять во внимание, что связующим звеном, передаточной энергией между творчеством Тютчева и Фета служит богоборческая, почти полностью пронизанная демонизмом поэзия Лермонтова¹¹.

Бунт Лермонтова осуществлялся путем открытого состязания с Небом, стремлением этого поэта уйти от всего человеческого, по возможности раствориться в космическом, расчеловечиться, если можно так выразиться, наперекор вочеловечившемуся Христу. Такое восстание на человека и Небо разрастается на наших глазах тем более явно, что Лермонтов не скрывает от нас своего особого, ему одному лишь данного знания о Боге. Именно знания, и потому вера в Всевышнего, в отличие от нас не знающих, Лермонтову была как бы не нужна. Он знал, он ведал Бога, он как бы видел Его в небесах и открыто вступал с Ним в единоборство. Прямое состязание с Небом привело Лермонтова к насильственной и притом внезапной, называемой на церковном языке «наглой», смерти¹². Что подумал, что почувствовал он в предсмертное мгновение, каково было последнее, еще живое выражение, мелькнувшее на лице его? Мы не знаем этого. Незадолго до гибели он успел рассказать нам в стихах свой, по выражению Владимира Соловьева, сон в кубе¹³: Лермонтову живому снится Лермонтов мертвый, которому в свою очередь снится любимая женщина, видящая его распростертым на песке кавказской долины. Но это с совершенной точностью сбывшееся прозрение не приближает нас к разгадке загробной судь-

бы поэта, оно лишь бесплодно томит нас своей неподвижной, неотвратимой четкостью.

Прямым, непосредственным наследником богоборческой, человекобожеской идеи Лермонтова был Фет. Он, вслед за Лермонтовым, как истый, законченный колдун и волшебник, своевольно насытил свою поэзию отголосками небесных мелодий, райских напевов, до него недоосуществленных, но уже снявшихся создателю «Мцырей» и «Ангела».

Фет с неистребимой языческой жадностью до конца своих дней заклинал красоту и ни разу не посчитался с творческим опытом Баратынского:

Любовь Камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу! Боюсь я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили бы перуны,
В которых спит судьба моя¹⁴.

Но почему же судьба поэта грозит неблагоприятно пробудиться от легчайшего прикосновения к лире? Не потому ли прежде всего, что это именно судьба, а не Богом ниспосланная благодать? Да и может ли поэт поручиться, что замороженные лирой силы, вызванные из областей неведомых и запретных, не опрокинут его самого — мятежного заклинателя, не преображенного подвигом святости? Трудно определить меру духовной ответственности того или другого художника слова, резца, органа и кисти. Степень своеволия, магической самоутвержденности в каждом отдельном случае бывает своя, особая. Достоверно одно: светское художественное творчество новой христианской эры двулико. На нем опочило нечто благодатное, ангельское, но оно, как и встарь, движется магией, волшебством, оно преисполнено прелестью соблазна¹⁵.

Творчество христианской эры, хотя и сопряжено с тревогой, болью, страданием и, следовательно, с какой-то отдаленной возможностью искупления греха, но все же художник «сын купели новых дней», похищая, по примеру древнего Прометея¹⁶, небесную искру, вынужден снова и снова платить за насилие, претерпевать жизненные бедствия, неудачи, испытывать на себе вражду Фортуны. В религиозном отношении он пребывает в неустойчивом равновесии и на любом повороте, при чрезмерном уклоне в магию, его поджидает крушение, смерть, духовная гибель.

Однако Фет, несмотря на столь характерную для него полнейшую преданность волшебству, сумел сохранить видимое

равновесие в течение всей своей долгой жизни, вплоть до конечной катастрофы. Между тем его восстание на небо куда страшнее и организованнее лермонтовского. Автор «Ангела» и «Мцыри» знал Бога, знания этого от нас не утаил и открыто противился Небу. А Фет восставал на Всевышнего, отрицая Его существование, причем такое отрицание было всего лишь изощренным способом, методом борьбы с Божеством. Да и можно ли серьезно ставить вопрос о неподдельном неверии любого истинного художника. Ведь подлинное творчество есть обличение вещей невидимых, обнаружение — пусть посредством насилия и похищения — тайных высших реальностей. Прежде чем решиться похитить «вещь», надо если не знать, что она существует, то верить в ее существование, или, хотя бы смутно, надеяться на него. Надежда же никогда не покидает художника, если только творчество его развивается в плане не душевно-телесном, как, скажем, у Льва Толстого, а в духовном, и даже частично злодуховном, как у Фета. Словом, доподлинно гениальное и потому духовное творчество, открывая миры иные, обнаруживает высшие реальности, новые создания Бога и тем свидетельствует о Нем.

Может ли художник действительно не верить собственному свидетельству? Фет намеренно и злостно утверждал таковое свое неверие. Ради борьбы с Творцом, он отрицал самое существование человеческого творчества, подлинность того, что оно обличает и обнаруживает. В безумии противобожеского самоутверждения он уподобил свои стихи все еще доходящему до нас призрачному свету давно потухших звезд, назвал их посмертным призраком своего уже не существующего вздоха... Такова была тактика Фета в борьбе с Божеством. Отрицая реальное, сущное значение человеческого творчества, он хотел быть до конца логичным в безбожии. Но в отличие от безукоризненной последовательности настоящих безбожников, его атеистическая логика далеко не безупречна. Ибо для чего же нужны законченному атеисту призраки призраков, для чего понадобилось ему прибегать к сомнительным соблазнам внесущного, иллюзорного искусства? В «Бесах» Достоевского Кириллов говорит о Ставрогине: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует, если же не верует, то не верует, что он не верует». О Фете же можно сказать иначе: он так упорно хотел не верить, что он верует, что, в конце концов, стал веровать, что он не верует. Только благодаря такому злостному самовнушению, самообольщению, могло действительно произойти раздвоение, рассечение личности Фета, помогавшее ему до срока

сохранять равновесие в быту: одна половина фетовского существа спокойно и практически жила повседневностью, а другая грезилась и ворожила над жизнью, вызывая, подобно гоголевскому колдуну из «Страшной мести», трепетную нежную тень давно усопшей женщины. Фет сознательно и злостно культивировал в себе это духовное раздвоение, выводя из него свои шаткие, но тем не менее преступные богоборческие положения. И думается верующему христианину, что за пленительную ворожбу, за сознательно организованное восстание на Бога Фет заплатил недешево, дороже, во всяком случае, чем Лермонтов за открытое, бесстрашное и, быть может, рыцарственное единоборство с Богом.

Чем сознательнее и упорнее отрицал Фет существование Бога и высших светлых реальностей, тем ближе подходил он к познанию темных злодуховных сущностей и тем неизбежнее должна была обнаружиться перед ним в решающее предсмертное мгновение первопричина мрака, черного ужаса: он должен был повстречаться лицом к лицу с демоном отрицания и бунта, всю жизнь искушавшим его.

В стихах, посвященных памяти Фета¹⁷, Владимир Соловьев как будто угадал нечто в высшей степени существенное в загробной судьбе погибшего страшной смертью поэта-колдуна. Ибо и теперь еще встает тревожная тень над душой того, кто, скорбя и сожалея, вспоминает о смертном часе непокаявшегося Фета. Этой тревожной тени по-прежнему хочется слез из сердца живого:

Слез чужих, чьей-нибудь бескорыстной кручины
Над могилой безумно отвергнутых грез.

ГЛАВА III

Светлый отход Жуковского, героическая кончина Пушкина, смиренно-покорное, непостижимо-безвольное умирание Гоголя, двулика, совместившая в себе торжественность и ужас смерть Тютчева, вызывающе внезапный конец Лермонтова, черная гибель Фета... Какое неуклонное наше движение от света к тем, от рая к преисподней! Нужды нет, что Тютчев умер на 32 года позднее Лермонтова, — у метафизики имеется своя хронология. Религиозный смысл свершающегося подлежит особому исчислению, нередко отличному от внешнего распорядка событий... В росте, ходе и развитии российской нации Тютчев не только хронологически (он родился в 1803 году), но и метафизически,

как поэт, как творец, старше Лермонтова, родившегося в 1814 году. Умирая, Тютчев «близился к началу своему», предваряющему и внешне, и внутренне, «начало» лермонтовское.

Поэзия Тютчева обретается как раз на первом переломе, ведущем российскую нацию от краткого религиозно-эстетического и государственного ренессанса к ущербу и падению. Она отобразила одновременно торжественность нашего божественного многосложного цветения и ужас приближающейся гибели. Особое выражение торжественности и ужаса, появившееся на лице умирающего Тютчева, лишь повторило, подтвердило бытийственно запечатлевшееся дотоле в творчестве этого поэта.

«Ночь хмурая, как зверь стокий», подчас в представлении Тютчева — «святая», хаос временами для него «родимый», «всепоглощающая бездна» иногда в его постижении — миротворная, приветствующая разверстым зевом бесповоротное уничтожение человека, «свершившего свой подвиг бесполезный», — вот прямые и грозные предвозвестники безоглядного бунта Лермонтова, организованного восстания на Небо и роковой гибели Фета, ставшей, в свою очередь, прямой предвозвестницей всероссийской катастрофы. Злостное духовное расщепление, раздвоение Фета, им сознанное и преступно оправданное, осуществилось лишь потому, что «вещая душа», «тревожное сердце» Тютчева уже билось «на пороге как бы двойного бытия», колеблясь в выборе между днем и ночью, не ведая, что оправдать окончательно, чему отдаться и что полюбить — ткань благодатную блистательного покровы или темный роковой мир, лишь до времени прикрываемый златотканым ковром. Поэзия Тютчева трагически двойственна, двулика: ее светоносная сущность исходит из чудом возникшего и, как глыба, цельного творчества Державина, а некоторыми своими темными корнями, по сию пору не исследованными, она касается надлома, надрыва, в те годы еще только назревавшего в глубинах нашего национального духа. Светлое, еще не тронутое грехом ядро тютчевской поэзии повторяет, отображает в сложных многоликих символах наше общее соборное цветение и являет собою неотъемлемую органическую частицу российского имперского творчества.

Поверхностные славянофильские идеи Тютчева — тленная дань моде, московским славянофильским салонам, — никакого отношения к духовному ядру его поэзии не имеют. В отличие от славянофилов, типичных народников справа, подменивших во имя «народа» вселенское православие бытовым исповедничеством, Тютчев был предан отбору лучших — нации, понятию

абсолютно духовному, неотделимому у нас в России от Империи и имперского созидания. Народ как толпа, как население страны, взятое в целом, всегда страшил и томил Тютчева своею непреодоленной животностью. Недаром именно Тютчев учуял и заклеил эпиграммой тогда только что зарождавшееся народничество Толстого. Когда вышли в свет ныне знаменитые «Севастопольские записки»¹⁸, Тютчев, будучи пожилым человеком, известным дипломатом и поэтом, первый поехал знакомиться к юному Толстому¹⁹. В его лице он, как принято говорить, хотел приветствовать новую надежду России. Но стоило появиться «Казакам», как тютчевское восхищение Толстым тотчас сменилось иронией. Обильных художественных деталей этой повести для Тютчева оказалось недостаточно. Он первый с поразительной пронизательностью отметил в «Казаках» нарождающуюся склонность Толстого к уравниванию неуравнимого, к опрощению и первобытной туземщине, будто бы таящей в себе какую-то божественную правду. Глубокое отвращение в Тютчеве вызвало именно то, что вся эта возня смиряющегося аристократа Оленина с Марьяшками и Лукашками, это искание абсолютной истины по коровникам и огородам происходит чуть ли не у самого подножия Казбека. Не все лежит на Тютчеве отблеск превыспренней поэзии Державина. Читая «Казаков», он ужаснулся за будущее России, за ее державную и духовную мощь, воздвигнутую доблестью самоотверженных поколений, воспитанных в традициях строжайшей иерархии... Для Тютчева, творчески воспринявшего учение немецкого философа о первородной тождественности явлений, горные вершины были символом земной устремленности к Небу. Такое понимание метафизической сущности горных вершин вполне соответствует имперскому сознанию Тютчева. Отсюда как нечто неизбежное вырастает для него мистическая идея монархии. Альпийская «венценосная семья» «льдыстым ужасом» уже нездешнего сияния разит равнины и моря и внушает человеку, свившему себе гнездо в долине, бескорыстную жажду возвышенного. Тютчевская вера в одушевленность природы и тютчевское имперско-национальное сознание неразрывны и в высшей степени монолитны. Имперское величие, неотъемлемое, несмотря на игру в салонное славянофильство, от всего духовного облика Тютчева, подсказало поэту жестокую, во многом пророческую эпиграмму на «Казаков» Толстого:

Негодный смысл сего рассказа
Изобразить бы можно так:

То грязный русский наш кабак
 Придвинут к высотам Кавказа²⁰.

Так заклеил Тютчев, конечно, не талант Толстого, а только проклятый порок, унаследованный Петровской Россией от жаждущей самоуничтожения и самоистребления, разлагавшейся Московии, все глубже и безнадежнее погружавшейся до Петра в туземное болото. Неукротимая воля Петра вырвала-таки Русь из этнической трясины, преобразила ее в Россию и высоко вознесла над разбитым мужичьим корытом. Тютчев всецело чувствовал и сознавал это, будучи по существу весьма далеким от славянофильства с его туземной идеологией. Но, созерцая величавую мощь единственной в мире христианской империи, постигая Россию как некое живое и духовное, соборное существо, он не уберег, да и не мог уберечь своей вещей души и тревожного сердца от иных тягчайших сомнений. Часто, слишком часто ему казалось, ему мерещилось, что и сам он, по примеру окружавших его русских образованных атеистов позитивного 19-го века, безвозвратно утратил веру не только в личное бессмертие человека, но и в существование Единого Сверхразумного Творца. Повторяю, Тютчеву лишь казалось, что он потерял веру, но как поэт, как творец, как неотъемлемая от России частица российской нации, он в данном случае совсем не случайно, а напротив того — провиденциально обречен был принимать кажущееся за неоспоримое, дабы со всею непосредственностью отразить в себе и потом выразить в слове темную суть порока, постепенно разлагавшего образованный, ведущий слой русского общества.

К середине 19-го века этот порок, а имя ему — безбожие, вызвал неисцелимый надлом в глубинах российской нации, тогда же отмеченный людьми, обладавшими исключительно зорким зрением. Безбожие, ставшее к XX веку нашим незамолчимым грехом, и привело Россию к крушению. Но никто не заметил того, что именно Тютчев, будучи восемнадцатилетним мальчиком, первый заговорил в стихах, в 1821 году, о разуме, отмежевавшемся от сердца, разуме, объявившем себя автономным и потому превратившемся в выхолощенный рассудок.

«Скованный наукой, раб ученой суеты» отрекся, во имя рассудка, от истинного, сердцем руководимого разума, и вот, — говорит юный Тютчев:

Нет веры к вымыслам чудесным,
 Рассудок все опустошил
 И, покорив законам тесным

И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников их иссушил.

Эти юношеские стихи Тютчева никто в те годы толком не усвоил. Только в 1842 году, когда вышли в свет «Сумерки» Баратынского, яростно спохватились сторонники полунауки. В пророческих стихах, ни с чем не сравнимых по совершенству, Баратынский говорил о грядущем безбожном, материалистическом, промышленном веке, шествующем путем своим железным²¹. Дорого заплатил Баратынский за свою отвагу! Преданные полунауке, недоучившиеся семинаристы, бывшие тогда в моде, надолго похоронили даже память о его имени.

Тютчева испытывало неверие само Провидение — да воплотится в слове и станет явным дотоле неясно обнаруженный грех. Конечно, все мы не знаем положительно, верим мы или не верим, мы всегда сомневаемся и в том и в другом. Трагедия Тютчева, ниспосланная ему свыше, состояла в том, что он порою нисколько не сомневался в своем полном неверии. Тогда, по его словам, ему становилось страшно тяжело, тогда открывалась его внутреннему зрению некая мертвая, пустая область, созерцать которую было не по силам его одинокому сознанию и заброшенному сердцу.

О Тютчеве писали сравнительно много и многие. В статьях Вячеслава Иванова, Франка, отчасти Владимира Соловьева и других высказано о нем немало значительного, даже весьма существенного. Однако до сих пор поэзия Тютчева воспринималась всеми как начало, само себе довлеющее и далекое от общего потока российских событий и свершений, метафизически понимаемых, она рассматривалась как нечто отдельное от нашего творческого семейственного очага. Здесь, и это надо усиленно отметить, я говорю и буду говорить не о внешних русских или иностранных литературно-философских влияниях, испытанных Тютчевым, не о его общекультурной дисциплине и выучке, а о его внутреннем, от его сознания и воли не зависящем, религиозно-эстетическом, сокровенном родстве с великими творцами российского художественного слова.

В недрах нации, в ее существе, беспримесно духовном, между ее особо избранными представителями, между творческими ее частицами, существует ими не созданная, органическая круговая порука. Эти творящие частицы взаимно вытекают одна из другой, они друг друга порождают, живут и питают, духовно обосновывают и искупают, они отвечают друг за друга²². Так, например, нельзя поставить полностью вопроса о судьбе Гоголя

как человека и писателя вне судеб Жуковского и Пушкина, го-голевских старших братьев, и вне судьбы Достоевского — го-голевского антипода, обусловленного и вызванного к творческой жизни автором «Мертвых Душ». Творчество Достоевского возникло в муках из духовных недр российской нации еще и как последняя попытка утолить завещанную нам Тютчевым тоску по Боге, по человеческому бессмертию, исцелить отчаяние, унаследованное нами от этого поэта, и наконец искупить гибельный бунт Лермонтова. Всего этого, мы знаем, Достоевский достиг не вполне. Тогда-то и приблизилась к нам вплотную угроза нашего общего крушения, первой вестницей которого суждено было стать поэзии Тютчева — творческому отображению его вещей души и тревожного сердца, бившегося на пороге как бы двойного бытия.

ГЛАВА IV

Разоблачить первичную непосредственную суть, жизненную основу многоликих символов, созданных художником, можно только любовно прикинув сердцем к его сердцу²³, прильнув душою к его душе. Тогда по трепетному ритму, по звуковой волне, по еле ощутимому дуновению «дрожащих напевов», постигнешь все недоговоренное, все скрытое поэтом. Чтобы обнаружить и обнажить жизненное значение художественных прообразов, найти первопричину, побудившую художника творить, надо предварительно проникнуть в «чистый храм» его души, неприступный для позитивного рассудка. «В этот девственный тайник, — говорит Фет от себя и от лица каждого подлинного творца, — хотя б и мог, скорей иссохнет, чем путь укажет мой язык»²⁴. Но заверению самого Фета, в неприступном храме его души пребывало нетленно только то, что судьбою посылается нам в отраду. Но в девственном тайнике Тютчева хранилось, наряду с отрадным, очень много горького, слезного, беспредельно печального. Тютчев затаил в себе неутолимую боль, великую человеческую обиду на быстротечность земного существования, даже тень которого нам сладка и в сладости своей обманна. Как некий Гераклит новейших времен²⁵, Тютчев яснее, чем кто-либо другой, сознавал, что все течет, и не только течет, но и утекает, уходит, исчезает бесследно, безвозвратно, навсегда. О, какая пугающая правда содержится в этих безутешных словах! И как страшилось их всеуничтожающего смысла неукротимо живое, любящее сердце Тютчева. Он боял-

ся не собственных предсмертных мучений, не своей личной смерти, как боялся их душевно-телесный Толстой. В этом отношении простому и такому жизненному заявлению Тютчева невольно веришь до конца.

Бесследно все, и так легко не быть!
 При мне, иль без меня — что нужды в том?
 Все будет то ж — и выюга так же выть,
 И тот же мрак, и та же степь кругом.

«Дни сочтены», — добавляет поэт, — и смерть не страшна, ибо «утрат не перечесть». Нет, не своего уничтожения во всепоглощающей бездне страшился Тютчев! Он трепетал перед непрестанной угрозой навсегда потерять еще здесь, в земной жизни, им любимых и им любимое, он боялся утратить вот это самое и этих самых — незаменимых, единственных. Не может быть примирения с их бесследным исчезновением в ненасытной пропасти, в разверстой пасти природы, поедающей своих же собственных детей. Или каждому из нас дано свое неповторимое, незаменимое и, следовательно, вечное лицо, — дано здесь, на земле, сейчас и навсегда, — или некто, вернее же безликое нечто, издевательски тешит нас иллюзией бессмертия. В злом круговороте разлук, уходов, утеканий, исчезновений, в земной, неумолимой смене существ и явлений, теряя близких, принимая их смерть за провал в небытие, Тютчев порою переставал ощущать былое как действительно бывшее, а настоящее принимал он тогда за призрак:

Былое было ли когда?
 Что ныне — будет ли всегда?
 Оно пройдет.
 Пройдет оно, как все прошло,
 И канет в темное жерло
 За годом год.

За годом проходит год, за веком век, и бесплодно негодование человека — быстро вянущего земного злака — и не последует с неба никогда и никакого отклика на «души отчаянный протест». Нет оправдания бесцельному чередованию дней и ночей, нет ни смысла, ни утешения в том, что снова будут розы цвести. Ведь прежних, навсегда увянувших роз все равно не вернуть. Для покинутого одинокого сердца — о, как страшно одинокого! — остается лишь боль и страдание от потери близких, во веки веков никем не заменимых. Пусть все вокруг цветет заново:

Но ты, мой бедный, бледный цвет,
Тебе уж возрожденья нет,
Не расцветешь!

Оттого-то часто, слишком часто, быстротечная жизнь казалась Тютчеву прозрачной. Если нет бессмертной личности у моей любимой, у моего дополнения, у моего, по выражению Баратынского, второго бытия²⁶, то нет и моего бессмертия, и тогда нельзя утвердить самостояния моих переживаний и мыслей, признать их за что-то особое, отличное от общего потока внешних явлений. Дурная, кощунственная аналогия напрашивается тогда сама собой:

Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья стихии одной!
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь в заключении, там на просторе,
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак, тревожно пустой!

Все прозрачно, все пусто, везде провал, бездонная, пугающая глубина. Конечно, совсем не случайно, вслед за Паскалем, называл Тютчев человека «мыслящим тростником»²⁷. Пропать Паскаля, везде его сопровождавшая, повсюду двигавшаяся вместе с ним, была ведома и Тютчеву. Скорбь и ужас Паскаля он, должно быть, сам ощущал ежедневно. Однако, великий французский мыслитель не только страдал, перед ним, благодаря вере, никогда его не покидавшей, все же изредка приоткрывалась дверь туда, «где радость теплится страданья», но эта дверь была наглухо закрыта для Тютчева, как для темного зверя. Напрасно стучал он в нее, напрасно взывал к Богу от себя и от лица своего безбожного века: «Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью!..» Через испытание неверием Тютчев принужден был пройти до конца.

И вот все призрак! Грустно тлится существование человека «и с каждым днем уходит *дымом*». Нужное слово наконец отыскано: жизнь — дым, ветром носимый соблазн, майя, обман.

В частом повторении найденного всеопределяющего слова Тютчев испытывал, по-видимому, какое-то горькое для себя утешение. Вон в лунной вышине светлеет дымный столб²⁸, а внизу скользит неуловимо его темная тень. Она-то и есть существование человека. Да, наше дыхание, наша жизнь, даже «не светлый дым, блестящий при луне, а эта тень, бегущая от дыма». Замечательно, что именно дым, только дым, пытается уподо-

бить Тютчев чему-то реальному. Дым дарован призрачной земле взамен высшей реальности, если где-то, быть может, и существующей, то во всяком случае не для нас, ибо не дано ничтожной смертной пыли дышать божественным огнем. С затаенной трагической иронией, с особым юмором, лишенным хотя бы и намек на улыбку, с юмором отчаяния, Тютчев хочет как будто сказать нам, что для него, безутешно скорбящего но навеки утраченной вере, дым, светлый дымный столб и есть на земле столп и утверждение истины²⁹. Итак, да здравствует столп истины — дымный столб! Мы же, тень от него бегущая, если и дышимся, сгорая в тоске, то лишь как дуб, сраженный Перунами, как жертва, принесенная этому неумолимо безмолвному божеству.

Дым и мгла владеют всем и царствуют над нами. Вот, вместе с солнечным лучом, что-то порхнуло в окно — «дымно-легко, мглисто-лилейно», край неба дымно гаснет в лучах, настает мглистый вечер. И в каком-то угрюмом упоении поэт восклицает:

Дым над дымом, бездна дыма
Тяготеет над землей!

Тютчев встречает стихами едва вышедшую в свет повесть Тургенева «Дым». Она для поэта лишний повод, чтобы подвести «итог всем итогам». Кто опустил дымную завесу, спустил ее от неба до земли? — спрашивает он.

Что это? призрак, чары ли какие?
Где мы? И верить ли глазам своим?
Здесь дым один, как пятая стихия,
Дым — безотрадный, бесконечный дым!

Дым, как пятая стихия — вот итог всех итогов, вот, если угодно, единственно существующая реальность, которую самому Тютчеву очень хотелось бы признать за призрак:

Нет, это сон! Нет, ветерок повеет
И дымный призрак унесет с собой...

Но сном и призраком неизменно оказывалась слабая надежда самого Тютчева. Снова наступала ночь, со всеми своими страхами и мглами, и легкий ветерок — дитя эфемерного дневного мира, сотканного из летучих облаков, воздушных красок, цветов и запахов, превращался в поющий страшные песни, ноющий, воющий ночной ветер, взрывающий в нас ответные неистовые звуки.

Да и на солнце весною мглисто дышит и дымится тающий, исчезающий снег. По воле всепоглощающей бездны, ничего не помнящей о былом, чуждой нашим призрачным годам, вскрывается весною лед на реке и возникающие льдины плывут по ожившей воде в океан. Они все вместе, малые, большие, плывут лишь затем, чтобы слиться, «безразличны, как стихия», с роковой бездной. И Тютчев снова и снова бесстрашно проводит кощунственное сравнение и ставит роковой вопрос:

О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое «я»!
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Но если человеческое «я» — всего лишь угодливое обольщение мысли, если оно всецело приравнивается к безразлично тающей льдине, то вывод отсюда один, и Тютчев его сделал. Обращаясь к любимой женщине, по-видимому обманувшей его живые чаяния и тем лишней раз показавшей, что нет в ней бессмертной души, как нет ее ни в ком из нас — льдин и людей, безвозвратно исчезающих в быстротечном потоке, в круговороте обманной майи, в прожорливом водовороте, — Тютчев в беспредельной тоске взывает и стонет:

Мужайся, сердце, до конца!
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе.

Но, несмотря на такое, казалось бы окончательное, решение задачи, все же что-то остается невыясненным. Если нет в нас бессмертной души, нет Бога и беспредельна молитва, то для чего же мужаться, да еще до конца, для чего добровольно длить бессмысленное самообольщение? А Тютчев не только призывает нас жить, быть, существовать, вплоть до неизбежного абсолютного исчезновения, вплоть до провала в безликую бездну, но он еще создает некий пафос безбожия — пафос отчаянной, героической борьбы с судьбою и роком.

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна.
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы, молчат и оне.

.....

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!

И, внезапно почерпнув в собственной духовной глубине выражение небывалой, сверх-дантовской, сверх-державинской силы, Тютчев судорожно бросает нам ослепительный и ужасный образ:

Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами глухие, немые гроба.

Над головою у нас раскинулись непостижимые узоры мерцающих звезд, под ногами, под тонким слоем земли, лежат истлевшие кости наших отцов и матерей. Это все! Для чего же борьба недолговечных существ с надвигающимся роком и кому нужна, кого способна утешить бессмертная красота нашей смертной борьбы с безымянной бездной?

Несколько позднее Тютчева убеждал нас и Лев Толстой катать все тот же Сизифов камень, но на этот раз уже без всякого пафоса, а ради смирения и «уничуждения паче гордости». В старческом, намеренно ровном голосе Толстого³⁰, проповедывавшего неустанное катание камня, чувствовалось желание досадить безымянной бездне. Духовный бунт, помимо воли самого Тютчева, зародившийся в нем, перешел по наследству к Лермонтову и, безмерно окрепнув, хлынул, разливаясь по двум различным руслам, по двум направлениям — к Фету и Льву Толстому. Автор «Вечерних огней»³¹ боролся с Богом, лукаво отрицая Его существование, а Толстой, подменив Новый Завет специально для того придуманным рациональным «Моим Евангелием», отрицая чудо и благодать, сумел под маской мнимого смирения укрыть от людей неискушенных свою титаническую гордыню. Но в Тютчеве не было лицемерной гордыни и тем более не было в нем желаний намеренно, в целях самоутверждения, отрицать бытие всемогущего Божества. Он, как подлинная жертва всевышней воли, скорбел и тосковал за себя и за нас по утраченной связи с Небом. Тютчев был избранною жертвою Бога, ниспославшего и к нему своего шестикрылого серафима, чтобы дать ему, как позднее Достоевскому, жало в дух, преградив ему доступ к вере живой. Апостолу Павлу, чтобы он не превозносился чрезмерностью откровений, дано было жало в плоть, к нему допущен был Ангел Сатаны, удручать его, чтобы он не возгордился³². А Тютчеву дано было жало в дух, и уязвленная вера этого гения пребывала в глубоком обмороке, дабы он научился во всеуслышание стучать в наглухо запертые двери, стучать неотступно в подтверждение сказанного: «Царство Божие нудится»³³. Тютчев, несмотря на свою гениальность, или напротив того, в силу ее, был человеком слабым, обуреваемым

всеми страстями, и потому до глубины познавшим отчаяние. Однако, как это ни кажется противоречивым, именно в часы полнейшего отчаяния обретал он на мгновение чувство бессмертия. Он порою вполне уподоблялся Вальсингаму — пушкинскому герою из «Пира во время чумы». Отчаяние доводило его, как и Вальсингама, до упоения гибелью, упоения, будившего в нем безошибочное чувство духовного самостояния.

Признание Вальсингама, обезумевшего председателя чудовищного пира, Тютчев мог бы повторить от себя:

...я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего...

Да и может ли не отчаяться, не сознать своего беззакония, не носить в душе страшного воспоминания тот, кто, как Тютчев, вполне постиг за себя и за нас, что все мы любим убийственно, что всего вернее мы губим как раз того, кого любим, что соединенье, сочетанье любящих есть длительный роковой поединок, на котором неизменно изнывает, погибает тот из двух, чье сердце любит нежнее³⁴. Из такого совершенно особого отчаяния, из особого сознания своего беззакония, из особого воспоминания о чем-то очень страшном рождалось в Тютчеве, как в Вальсингаме, стремление к вызову, к борьбе, возникало греховное, быть может, чувство ликования, возгорался пафос безбожия. Тогда-то и призывал поэт каждого из нас отречься от призрачного, как полагал он, человеческого «я», чтобы хоть на миг приобщиться «к жизни божески всемирной», раствориться в потоке безличного и потому, прибавлю от себя, в существе своем безразличного весеннего цветения.

ГЛАВА V

О любви Тютчева к природе, о его страстной привязанности ко всему земному, о его пантеизме, о его близости к языческим, главным образом индусским, учениям, было сказано и написано немало. Но о том, откуда приходили, из чего рождались в нем эти любовь, привязанность, этот пантеизм поневоле, совсем по существу не убедительный, никто, никогда и ничего, насколько мне известно, не говорил и не писал. А ключ к поэзии Тютчева надо искать совсем не в его иногда чрезмерно схематических сопоставлениях космоса и хаоса, не в его пантеистических устремлениях, а в том, что именно толкало его

к ним. Надо нащупать и обнаружить причину, по которой он порывался порою уйти от всего человеческого, хотел «вкусить уничтоженья», слиться с сумерками, с миром дремлющим.

Во всяком случае, знаменитая статья Владимира Соловьева не может, как думали до сих пор, служить ключом к поэзии Тютчева. Она, несмотря на очень дельные детали, слишком абстрактна, подчеркнута философична и в целом к творчеству поэта непосредственного отношения не имеет. Ее положения и выводы вырастают не как органическое продолжение и развитие тютчевского стихотворного текста, они лишь кружатся около него, не касаясь его дышащей, трепетной ткани, не проникая в его живую и, как все живое, страждущую сердцевину. Вообще наша критическая и философическая литература о Тютчеве и в особенности о Достоевском грешит, за редчайшими исключениями, дурной отвлеченностью, пренебрегает существом их искусства, хочет видеть в них каких-то философов, писавших трактаты в стихах и романах. «Я все ждал, — писал не без яда Иннокентий Анненский, наитончайший ценитель художественного слова, — что после рассуждений о философии Тютчева заговорят, чего доброго, о философии Полонского»³⁵. Упоминание о Полонском звучит в данном случае особенно смешно, ибо нет поэта с более детским мироощущением и мировосприятием, чем он. Находились также любители, возводившие абстрактные построения вокруг поэзии Фета, пытавшиеся отыскать и в ней подобие философской системы. Они забывали при этом, что, в предвидении такого рода попыток, Фет не без задора и вызова писал о себе и своей Музе:

Безобидней всех и проще,
В общем хоре голосистом,
Ранним утром в вешней роще
Раздражал я воздух свистом³⁶.

Нет, Тютчев, благодарение Богу, был поэт, а не философ. Его мысль не терпела философских абстракций, она «наклеивалась в нем, как из яйца цыпленок» (выражение Достоевского). Тютчев чувствовал в себе зарождение мысли; он знал, как и Достоевский, что, родившись, она должна оставаться на услужении у сердца, что, отрываясь от сердечной жизни, уходя в бесплодные отвлечения, она из верного слуги превращается в завистливого лакея, ищущего гибели своего господина. Мысли Тютчева рождались из его непосредственного жизненного опыта, из мучений и радостей поэта. Благородно сухие, беспримесно духовные, они возникали стремительно, как сыплются искры

от удара конских подков по кремню. Этот сухой блеск мысли лишний раз сближает Тютчева с Гераклитом. Но все же надо твердо помнить, что Тютчев не древний грек и не индус, а сын великой христианской страны, душа которого, несмотря на волновавшие ее роковые страсти, была «готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть». Кровный, духовный сын России, хотя в бытовом отношении всячески отчужденный от русской толпы, Тютчев всецело сознавал, что нет для человека иной опоры, кроме Евангелия. Посылая своей дочери Новый Завет³⁷, он призывает ее, в часы, когда рассвирепеет жизни зло, припадать всей душою к этой книге, как к изголовью. Он сердцем и сознанием зовет Христа прикрыть своею чистою ризою народные грехи и язвы. Он хотел верить, скорбел о вере, скрытно от его сознания пребывавшей в нем в глубоком обмороке, и не в силах, как ему казалось, обрести ее, добывал себе взамен *знание* о Боге и бессмертии человека дерзанием, граничащим с демонизмом. Тютчев, и в этом уподобляясь Вальсингаму, бестрашному герою Пушкина, ведал упоение «бездны мрачной на краю и в разъяренном океане, среди грозных волн и бурной тьмы»³⁸. Он, по собственному его признанию, любил «сие незримо во всем разлитое таинственное зло» и мог бы, как и Вальсингам, восхвалить дуновение чумы. Сливаясь душою воедино с гимном безумного председателя, Тютчев мог бы полностью повторить его слова:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

Итак, надо дерзать, ибо дерзанием мы добываем — пусть своевольно, насильственно — знание о нашем бессмертии. К этой грозящей гибелью точке, к этой вере в необходимость дерзания, неизменно устремлялись все величайшие российские гении. Вначале беспредельное дерзание и лишь потом смирение, искание помощи у церкви и ее святых. Вот путь, поистине пролегающий над бездной, извилистый и узкий путь российского богосыновства!

Как у Данте, после его прохождения через Ад, навсегда остались на щеках как бы следы от inferнальных ожогов, так у Тютчева, слишком долго созерцавшего безымянную бездну, могли уловить его современники в глазах скользящее отражение ужаса. В предсмертную минуту этот ужас появился на лице поэта наравне с выражением торжественности. Как будто одно-

временно с божественным величием собственного бессмертия он узрел приближение Ангела Смерти, «судеб посланца рокового», так долго соблазнявшего его при жизни.

Россия накануне своего крушения стала двуликой. В ее больших городах, в особенности в столицах, чувствовалось, даже сознавалось, что надвигается страшное, совершенно новое, до того небывалое. Мгновениями все вокруг казалось неустойчивым, зыбким, как будто асфальтовая мостовая уходила из-под ног, уплывала, проваливалась. В начале XX столетия эту жуткую шаткость первыми ощутили безмерно чуткие души двух российских поэтов.

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты,
Я не знаю — где вы и где мы...³⁹

Так писал Иннокентий Анненский осенью 1909 года, незадолго до своей смерти. И вдруг, как призрак, возникший из желтого пара, строитель России, медный всадник на медном коне и извивы змеи, прижатой конским копытом:

Царь змеи раздавить не сумел
И прижатая стала наш идол.

Какое двуликое, угрожающее видение!

В 1908 году, за год до прозрения Иннокентия Анненского, Россия все еще казалась Блоку цельной, вековой:

А ты все та же — лес да поле,
Да плат узорный до бровей...⁴⁰

Только в 1913 году почувствовал Блок начинающееся расщепление, раздвоение России:

На пустынном просторе, на диком,
Ты все та, что была, и не та, —
Новым ты обернулась мне ликом...⁴¹

Этот новый, ускользающий, шаткий, зыбкий лик суждено было увековечить Блоку в «Двенадцати»:

Черный вечер,
Белый снег,
Ветер, ветер,
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер на всем Божьем свете.

Не двуликость ли России заблаговременно и пророчественно отобразили в себе поэзия и смерть Тютчева? Да и можно ли во-

обще отрешить жизнь, поэзию и смерть великого поэта от духовной глубины породившей его нации? В творчестве Тютчева, как из души самой России, звучат два голоса. Первый голос говорит нам о том, что мы мгновенны и смертны, в отличие от богов, блаженствующих на Олимпе; второй, более громкий и настойчивый, зовет нас подняться выше олимпийских, иными словами языческих, богов и тем обрести истинное, возможное для нас бессмертие. Но для этого мы должны, по Тютчеву, проявив величайшее дерзновение в борьбе, пасть сраженные роком, умереть, подобно посеянному зерну, дабы восстать в духовном теле. Только тогда обнаружится для нас, как совершенная высшая реальность, наше по-новозаветному постигаемое богосыновство. Тютчев дает нам краткий пятый акт пережитой им трагедии, несущий в себе катарсис, духовное очищение:

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Победный венец, или же на языке Пушкина — залог бессмертия, добываемый дерзновением человеческих существ, призванных самим Богом быть как боги.

И вот, надо признать, что пантеизм Тютчева, его близость к языческим учениям, его любовь к природе, поскольку она находится за пределами единственно сущного человеческого «я», — всего только прохождения великого гения через начала отрицательные и в конечном итоге призрачные. Все это было дано ему как искушение, и являлось следствием пережитого его духовной глубиной обморока веры живой.

Творческий путь Тютчева, исходя из державинского искусства, всецело посвященного Богу-Отцу и созидательным делам человека, развиваясь, касается пушкинской поэзии — Адама первородного, как бы еще не знающего греха, — прорастает сквозь творчество Баратынского, заветавшее нам слово о падшем и снова восстановленном Адаме, и внезапно, уклоняясь прочь от всего человеческого, приближается к самому краю безликой и безымянной бездны. Здесь творческое устремление Тютчева пресекается надолго. Происходит мучительная остановка, дающая начало гибельному бунту Лермонтова и колдовскому своеволию Фета. Затем, пройдя по узкой и скользкой переправе, брошенной над черной пропастью, творческая воля Тютчева, взамен веры, дерзновенно достигает некоего знания о Боге, и нашем бессмертии, знания, равного всего лишь искре,

сухой и малой, однако же неугасимой. От этой искры возгорелась впоследствии пламенная воля Достоевского, преодолевшая мертвые души Гоголя, оправдавшая человека, падшего, но способного встать и удостоиться бессмертия.

От дерзновенно похищенной Тютчевым искры должна затеплиться наша надежда на всероссийское спасение, но от приближения этого поэта к безымянной бездне произошел ужасающий обвал, на наших глазах все еще разрастающийся.

Поэзия Тютчева остается двуликой, но у нее должны мы научиться плодотворно скорбеть и тосковать по утраченному Отечеству, застывшему ныне в глубоком обмороке, как стыла вера Тютчева.

Перейдет ли Россия, как перешел Тютчев, через пропасть по узкой и скользкой переправе? Достигнет ли она, подобно своему поэту, дерзновенного выстраданного ею знания о Боге и собственном бессмертии? Во всяком случае вопрос, заданный некогда Тютчевым, остается все еще без ответа:

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

1954

